

165012

Бальмонт К.

187

В последнее время заметно усилился интерес к литературе Русского Зарубежья. Творчество Константина Дмитриевича Бальмонта 1920—1930-х годов — одна из существенных и до сих пор не прочитанных страниц этой литературы. За более чем двадцатилетний период жизни в эмиграции К. Д. Бальмонт (1867—1942) создал не только несколько сильных, пронизанных ностальгическими переживаниями сборников стихотворений («Марево», «Мое — ей», «В раздвинутой дали», «Светослужение»), но и автобиографический роман «Под новым серпом», сборник рассказов «Воздушный путь», целый ряд очерков, частично вошедших в книгу «Где мой дом?» (Прага, 1924).

Предлагаемый очерк из этой книги выражает настроения и взгляды не только большого русского поэта, тоскующего вдали от Родины, но и всей «первой волны» отечественной послереволюционной эмиграции, в особенности деятелей литературы и искусства.

Константин БАЛЬМОНТ



БЕЗ

РУСЛА

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце.
А если день погас,
Я буду нитью — Я буду нитью с Солнцем
В бесмертный час!

К. Бальмонт

Три года тому назад я уехал из Москвы и через Эстонию приехал в Германию, а оттуда во Францию. Выхать из Москвы, увозя с собой семью — три женские существа, приговоренные докторами и голодом к смерти, — было очень трудно, почти невозможно¹. Мне, однако, это удалось, как удалось и Кусевицкому с женой². Мы ехали в одном поезде. Тогда еще не выпускали за границу никого, кроме своих. А ни Кусевицкий, ни я, мы своими не были. Наш отъезд был некоторым чудом, и как чудо мы его воспринимали. В Нарве мы еще чувствовали себя уехавшими, или, вернее, впервые поняли, с чувством безмерной тяжести, спавшей с плеч, что мы в преддверии Европы.

Ревель³ — хоть и эстонский, все же и такой русский, по крайней мере три года тому назад, показался мне обетованным городом, именно в том смысле, в каком я когда-то радовался первому европейскому городу, в который я попадал, покинув Москву или Петербург времен ныне исчезнувшего царизма. Какая ирония судьбы. Я дважды был изгнанником при старом порядке. В 1902-м году за стихи о Маленьком султане я, без своего желания, провел год в Европе; и после революции 1905-го года, после написания и опубликования книги революционных стихов «Песни мстителя», я провел вне России, без своего на то желания, семь лет. Я, считавшийся и бывший революционером, снова, в третий раз, после того, как в России осуществилась революция, живу три года в Европе, без малейшего к тому желания. Изгнанник ли я? Вероятно, а впрочем, я и не знаю. Я не бежал, я уехал. Я уехал на полгода и не вернулся. Зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу. Но нет дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство, независимо от того, что в ней делается и какое историческое бедствие или заблуждение получило на время верх и неограниченное господство. Я поэт. Я не связан. Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия.

Там, в родных местах, так же как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шепелом, своим вешим шепотом тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев, поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там везде говорят по-русски; это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое как неотъемлемое свойство, как основа моей личности. Там говорят «до свиданья», «милый», «прощай», «люблю», и на лесной опушке кличет эхо, которое откликлось мне, когда еще мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.

Ах, мне тяжело. Мне душно от того воздуха, которым дышат изгнанники, косо смотрящие друг на друга и вечно друг друга подозревающие, совсем так же, как подозревают друг друга люди и там, в родных моих местах, в обезумленных, в обездоленных, в измененных. Мне душно и от воздуха летнего Парижа, где я никому не нужен и ничто для меня не нужно.

Не думайте, что я зову кого-нибудь из уехавших или бежавших, из уехавших и оставшихся, из спасшихся от тяжелых мучений, может быть, смерти, — очертя голову, вернуться в теперешнюю Россию, где право растоптано, где слово несвободно, где нет первооснов человеческой справедливости. Нет, я говорю только о себе, и да будет же мне, хоть здесь в пустыне, даровано безраздельное право быть собой, быть поэтом, чувствовать

иначе, чем другие, и иначе мыслить, и иначе поступать. Я говорю только о себе и не делаю никаких общих выводов.

Здесь, в свободной, будто бы свободной, Европе я чувствую себя душевно таким же связанным, каким я чувствовал себя в последний год в Москве, где я жил бок-о-бок с навязавшимися мне жильцами, нагло распоряжавшимися в моей квартире, где я голодал, где я говорил иногда моей девочке, бессильной заснуть: «не плачь: завтра, быть может, мы поедем». Моя девочка стала за эти три года красивой девушкой, живой и остроумной. Я уже не говорю ей, — за ненадобностью, — таких утешений, а когда подходит нужда, — она все же не такая острая, — и если нет денег на настоящий обед, можно сварить суп из старого недоеденного хлеба. Но здесь мне тоже нужно произносить и перед ней, и перед другими близкими, и перед близкими-далекими, и перед самим собой много разных утешений, в которые не веришь и которые не оправдываются. Основное остается как правило жизни каждого дня и каждого нового тяжелого месяца. Это основное: я на чужбине, я вне действительной связи с моей Матерью, с моей Родиной, хоть от меня туда и оттуда до меня доходят веяния души, доходит голос сердца, которое бьется, еще живо, не умерло, но бьется тяжело, с мучением, которому исхода не вижу. И вот, чем дальше иду я по дорогам чужбины, тем слабее моя связь с моей Родиной, и тем чаще я спрашиваю себя с горечью: не лучше ли быть мне в тюрьме — там, чем на свободе здесь? И действительно ли я здесь — на свободе?

Русла нет. А река без русла разве свободна? Она плещется и разливает свои воды, где и не нужно. Даже реке необходимо русло. А изгнанническая жизнь даже и не река в разливе: много беднее, гораздо менее в ней красоты и содержания.

К чему же мне прильнуть? Я поэт и человек. Нет мне места, как человеку и поэту. Сколько бы литературных достоинств ни было в моем творчестве, оно не нужно, если я не в близости с той или иной политической группой, а возможности печататься находятся в руках тех или иных политических групп.

Когда в 1920-м году, в Москве, меня по причине некоего ложного доноса, будто я в стихах, где-то напечатанных, восхвалял Деникина, пригласили вежливо в Чека и между прочим дама-следователь спросила меня: «К какой политической партии вы принадлежите?» — я ответил кратко: «Поэт».

Это не был ответ экстравагантный. Это был простой возглас сердца. Да убирайтесь вы от меня к черту, все политические души, смотрящие на мир с политической точки зрения, не видящие, что мир больше и шире, чем говорит ваша политическая машина, которая своим однообразным в разнообразии скрипучим треском и шумом свидетельствует, что гармония мира вам чужда и вы, бессильны овладеть творческими силами жизни. Мне

с политическими партиями делать нечего, каковы бы они ни были, коммунистические, монархические, гомеопатически-социалистические, то бишь кадетские, и прочая, и прочая. Я человек и поэт, и потому на ваших праздниках и в сплетнях ваших немногих, но существующих возможностей и удобств — мне нет места. Иногда что-то из моих слов и настроений случайно подойдет для того или иного печатного органа. Тогда меня печатают. Потом, как бы ни было дорого моей душе то или иное художественное мое достижение, я после долгой литературной дороги, я слышавший много раз приветственные слова от самых высоких душ разных стран земного шара, вижу от политического редактора литературного журнала такое отношение к себе, которое трогательно напоминает мне дни моей юности, когда солидные московские либералы находили, что я не лишен дарования и подаю надежды.

Не должно думать, что эти слова мои свидетельствуют о моем унижении. Нет, мне кажется, что тут унижен кто-то другой, тут в поношении нечто совсем иное, и в таком поношении, что, если об этом думать не поверхностно, можно прийти в ужас. Без преувеличения и без преумножения, я слишком хорошо знаю, кто я. Мое, за всю жизнь отъединенное, внутреннее устремление дает мне возможность спокойно говорить о себе, как о третьем лице, и на примере этого третьего лица указать на вопиющую чудовищность некоторой неправды, которой быть не должно. И вот я свидетельствую, что, если в Москве, в течение трех лет, 1918-1920, я задыхался от невозможности быть собой и говорить полным голосом, я задыхаюсь от того же и здесь, в русском и французском Париже, по соседству с русским и немецким Берлином и людоедски-своекорыстным английским Лондоном.

Говорить все, что думаешь и чувствуешь, до конца — или не говорить вовсе. Говорить только часть — или не говорить вовсе, это для меня означает равно пытку и душевное унижение. И я еще не смогу утверждать, что не говорить вовсе, по существу, хуже, чем говорить часть. Ибо, когда молчишь, в этом может быть, от умения по-настоящему молчать, странный душевный крик, который слышен даже разбойнику, слышен и действует. А когда говоришь лишь часть, невольно искажаешь правду, невольно рисуешь искаженное изображение, невольно и преступно лжешь. Это не всегда, конечно, но так бывает. И в жизни без русла бывает слишком-слишком часто.

Зачем я все это говорю? Не зачем, а почему? Потому что, когда человеку очень трудно, он может вздохнуть и даже, хоть бы он был выносливый и сильный, застонать.

Я за всю жизнь убил одну только птицу. В гимназические дни однажды у себя в саду застрелил из ружья певчего дрозда на рябиновой ветке. Мне до сих пор тяжело вспомнить об этом преступлении. Я живу сейчас в мире, который, грубо захмелев от преступно излитой им несчитанной крови, только и делает, что брызжет на душу грязью и кровью и слепо убивает певчих птиц.

Публикация и предисловие доктора филологических наук
П. КУПРИАНОВОГО,
кандидата филологических наук Н. МОЛЧАНОВОЙ

гор. ИВАНОВО

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 — За границу К. Бальмонт выехал в июне 1920 года по командировке и не вернулся. Вместе с ним выехали третья жена поэта — Елена Константиновна Цветковская, их дочь Мирра и друг семьи Анна Николаевна Иванова (Нюша).

2 — Кусевицкий Сергей Александрович /1874—1951/ — известный русский музыкальный деятель, дирижер и контрабасист.

3 — Ревель — название Таллина в дореволюционной России.